

**Утренний выпуск.**  
**Фольклоръ за строку пятиць иже**  
заплати съ ишто: въ Латвіи въ текстѣ 1 л.  
40 с. (70 р.), предл. труда 14 с. (7 р.), поездки  
текста 34 с. (17 р.) + 10% город. налога.  
Для загранции 10 змер. цент. за строку.  
Ред.: Рига, Мельничная 57 (уголъ  
Церк.) Тел.: рд. — 21219, гор. зрох. —  
21733 и 21834, почтая редакція — 21834.  
Глазные конторы и выставки Рига,  
Мельничная ул. 57. Тел. конторы  
21000, телер. рекламнаго отдѣла 21225

**№ 135.**



**ВЫХОДИТЬ УТРОМЪ И ВЕЧЕРОМЪ.**

**14-й Г. ИЗД.**

**ВОСКРЕСЕНЬЕ,**  
**15 МАЯ 1932 ГОДА.**  
Цѣна номера въ Латвіи 16 цент. (7 р.)  
въ Литвѣ за оба изд. 60 цент. Подлиннѣ  
изд. изъ "Сегодня" въ мѣстѣ (изъ  
7 номера въ началѣ) въ Латвіи 3 л. 76 цент.  
заграницей 5 л. 20 цент. или 1 зм. долларъ.  
Подп. пд. изъ "Сегодня" и "Сегодня  
Вечеромъ" (13 номеръ въ над.) въ Латвіи  
л. 6.— загр. 8 л. 50 цент. или 1.70 зм. долларъ.

# Любимый писатель.

Помню, по поводу стоявшей со дня рождения Толстого, и никаких, что если бы у лопыхах двух русских интеллигентов проштудировали клады мозга, вбирющие и скапливавшие наши воображения с детьми, быть, можно поручиться, что добрая половина склоненных к тому богатству оказывалась бы одинаковой. Нельзя себе представить никаких русских интеллигентских кладочек, где не застали бы единаково Пушкина, Толстого, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, не имена только, но отрывки только произведений, а как-то целиком, весь со всеми их творчеством, духом, со всеми ими не только интеллигентами, но и человеческими особенностями. И хранили мы их в себе как бы даже не памятью, а памятью, как-то беззрочно вбивая и глубже, как не память мы храним в себе наше достоинство.

Весь наше достоинство мы же вспоминаем, оно всегда с нами, неотделимо от нас. И неотделимо от нас... — Пушкин, Гоголь, Толстой... Мы росли по ним. Мы даже не сознаем, насколько мы с достоинством не „свои“, „их“... Мы привыкаем чувствовать и думать их образами, и граze между ними и нами иногда до того страшно, что мы покримеем перестаем отличать, что наше, что нет.

Разве „Мертвые души“ нам нужно исполнить? Разве стоялась над нами с тыльничками ладоней и отмывала их про себя, ванько дразнила напряженные памяти, чтобы сказать: „Вот это Пушкин, это Собакевич, а вот это Манекин“? Это самой собой определяется, каким самим собой встает перед нами картина давно-давно пережитого при камне — и вдруг ее особенности сочетаны красочью не хана, при особенных запахах, звуках.

И среди породивших наших душ для каждого из нас всегда есть один особенный — „любимый“. Любимый писатель. И не знаю — твой ли я звучу, то ли большинство знающее имелось это выражение, но может отбываться от образцов, от них рожденных, от мастеров, не имя созданных для него проекций.

Рядкий писатель, даже крупный, не начинать с подражанием. Прячется редко, чтобы не подражание оно не считало оригинальным произведением, „своим“.

И в пору первых писательских шагов оно так почти и есть: подражание на стро-

гомъ смыслъ иметь, а есть безсознательное слияние с другими, отъ чего рано или поздно излечиваться.

Но бываетъ, что иной, вскориленный и исполненный гигантами литературы, на всю жизнь остуждеть быть только слабымъ отголоскомъ другого.

Поесть называть имена, но у насъ были, что слышали да Достоевскаго и Толстаго, были и новый здравствует писатель, который не можетъ отойти отъ Чехова.

Тутъ не то, чтобы недостатокъ таланта, а недостатокъ — или, какал-то невозможность выйти изъ подъ поработившаго душу громадного влияния.

Про молодые годы и говорить нечего. Тогда мы до того щѣликомъ подъ гипнозомъ какого-нибудь литератора бѣгъ, че не только все въ его съѣѣ, не только думаетъ его образами и фабеками покропите его монету, но совершенно не захоча этого, поддается буквально повторять его слова, приныавъши всъ свои.

У художниковъ бываетъ иногда случайное совпадение темъ. Да позажиста, напримеръ, могутъ случайно воспроизвести одинъ и тотъ же уголокъ тела, позы, какъ-нибудь развалившись.

Я прочелъ ей вслухъ пренесенную статью по переделочному вопросу. Прости, братъ! Тебѣ это необходимо. Статья замѣтная по честности. И не выдержалъ и написалъ въ редакцію письмо на переделъ и напоминъ о своемъ чувствѣ.

Писательская сущность въ ярлыке роковой случай съ академикомъ Крыжицкимъ, очень талантливымъ художникомъ, покончившимъ самоубийствомъ отъ того, что его картина, „Вѣяло весны“ абсолютно совпадла по темѣ съ картиной Бровара, „Вѣлможевской пунц“.

Конечно, тутъ Чеховъ удивляется, но потому и удивляется, что это странно изъ жизни, неизвестно и тишине...

А мало мы знаемъ людей, которые художественно перенесли свою жизнь на Толстому? Тутъ ужъ своего ничего не остается, тутъ полное раствореніе себя въ другомъ.

Но хорошо, если это происходитъ отъ рядового читателя; покажу, кроме позывы, тутъ ничего. Вѣда, если эти трагедіи случаются съ писателемъ же. Писатель, который пишетъ только, поскольку онъ организованъ, начинаетъ переживать настоящую муки. Вѣда чуткій онъ острѣе воспринимаетъ, въ немъ глубже злочестъ, и то, что онъ иногда долгъ не можетъ отбываться отъ образцовъ, отъ нихъ рожденныхъ, отъ мастеровъ, не имя созданныхъ для него проекций.

Рядкий писатель, даже крупный, не начинать съ подражаниемъ. Прячется редко, чтобы не подражание оно не считало оригинальнымъ произведениемъ, „своим“.

Въ пору первыхъ писательскихъ шаговъ оно такъ почти и есть: подражание на стро-

Однъ небезызвѣстный писатель не безъ икоры рассказывалъ ми исторію своего первого беллетристического очерка.

— Только что со школьной скамьи, младенческими влюблоподъзывающимися я учился въ почтныхъ маневрахъ. Помни, я лежалъ подъ часомъ въ цѣли, въ пустынномъ полѣ, недалеко чиркала лѣсъ, а впереди и гдѣ-то скобу то дѣло переборы тѣни; испиратель не дремалъ. И есть ми вообразилось, что все это настороже: и непрятливы насторожи, и я самъ, и вътъ я лежу, смѣртельно ранены, брошенены, стъ замѣлокъ губами, умираю отъ жажды. И такъ же ми вообразилось, что и долженъ бы перенести и перечувствовать, такъ яко, аѣтакъ картины посѣдовательности, чѣмъ разскѣзъ — я разсыпалъ и себѣ все, конечно, только въ формѣ рассказа, — собственно, было уже готово. Осталось только вымыть на бумагу. И это и сдѣлалъ спустя пѣвѣлько днѣй. И тѣль сразу написалъ безъ единой помарки.

Я самъ не понималъ тогда, какъ это я ми вымыло такъ легко, такъ безъ напряженія. Перечелъ и изумился: разскѣзъ былъ поистинѣ замѣчательный. Я его озаглавилъ: „Грифъ на походѣ“.

Я его показалъ старшему брату, — малому, правда, немногому беззаботному насчетъ литературы, но все же чловѣку взрослому, и тотъ привелъ въ восторгъ:

— Да это же, братъ, настоящее. Да ты же настоящий писатель, клинусь честью... Папинъ, братъ, папа...

Словомъ, разскѣзъ и чистенько передѣжалъ и не прѣѣхѣлъ изъ города отправясь въ одинъ гостливый журналь.

Отправилъ и пересталъ спать: стала ждать телеграммы. И мнѣ казалось, что редакторъ, прочитавъ мой разскѣзъ, непремѣнно побѣгдѣть отъ воленія, почеумъ заастестъ на всѣ путеводныи и сѣйчасъ же мнѣ протелеграфируетъ: „Ради Бога, прѣѣзжай немедленно“.

Все наслажденіе, всѣ жгучіе ограбмы мнѣ было именемъ быть въ этомъ, тѣ редакторъ никакъ не одобрѣтъ своего восторга и захочетъ мнѣ умыть сѣйчасъ же носъ. Вѣда какъ Некрасовъ Достоевскаго поэмы „Вѣлможъ“ и между нами разыгрывается трогательная сцена. И буду смущенно молчать, а она положитъ мнѣ руку на плечи и будетъ долго смотрѣть на мене глазами покоями слезъ.

— Скажите, папа, какъ вы написали это?

— Да такъ, зваете-ли, — скажу я. — Принесло знать, въ голову...

Но почти моя проходила довольно спокойно: меня не тревожили. Спустя мѣсяцъ, предѣль рабѣсть, я отпрыгнула въ редакцію.

Какъ сейчасъ помню вѣтрустъя мои художника, молодого человека въ чорной сатиновой рубахѣ и въ пиджакѣ. Онъ задумчиво, очень серьезно ми выслушалъ, играя карандашомъ.

— Такъ, такъ... Какъ же, какъ же, стоять помнишь... „Три дня въ походѣ“... Какъ же. Только вотъ что, — вскликнулъ онъ на меня глаза, — не будешь напечатано.

— Чѣмъ же, — премилѣтель я, — нехорошо?

— Разѣвъ я сказалъ „нехорошо“? Нѣтъ, хорошо. Въ особенности вѣтъ эти страницы... Нозвыши и сейчасъ найду...

Онъ началъ мой разскѣзъ и съ большими чувствами сталъ читать какъ разъ тѣ страницы, которыи и ми въ москѣ разскѣзъ казались самыми блестящими.

— Очень сильно, — сказала онъ. — Выпукло, яко.

— Годы что же? Почему же не будешь напечатано?

— А вѣтъ почему, — сказала онъ, довѣрчиво положивъ руку на руку мою нальято. — Дѣло въ томъ, че это-то — чловѣкъ, видно, безъ софтии — спустилъ у вѣтъ звонъ разскѣза, вымылъ за свой, озаглавилъ „Чѣтыре днѣ“ и напечаталъ раньше, подпишавъ: „Всеволодъ Гаршинъ“. Если бы не эта маленькая непрѣятность, — добавилъ онъ безъ малѣйшей улыбки, сочувственно на меня глядя, — будьте склонны, мы бы вашъ разскѣзъ непремѣнно напечатали...

Не стану описывать моего ухода, мучительнаго, явительнаго смысла, который хенъ охватилъ. Но вотъ че я възмѣхъ: дѣло въѣдь, прошлое и дѣло почи дѣлъ лѣтъ. Ты, папа, вѣдь, помнишь, какъ я писала разскѣзъ, и не помнитъ Гаршинъ, и не думать о немъ. Какъ вамъ объяснять? Онь вымылся менѣ толькъ потому, че Гаршинъ тогда безразсудно вѣдѣлъ мнѣ. Я былъ имъ пропитанъ паскомъ, несгодицъ имъ него.

Все же я долго не могла оправиться отъ удара. Увлеклася же не только тогда, когда пѣвѣлько лѣтъ спустя я просматривала какъ то отроковскіе стихотворенія Лермонтова, его раннюю поэму „Кавказскій пѣвчининъ“, где по-народному повторенъ „Кавказскій пѣвчининъ“ Пушкина.

— Ну, если отрокъ Лермонтовъ молчъ, — подумалъ я, — то ужъ стъ мене и Богъ въ люди не вѣшнушъ...

ЛЕВЬ МАКСИМЪ.